



КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В
ЕВРОПЕЙСКОМ МИРЕ: ИТАЛИЯ И РОССИЯ»
Москва 28 мая 2012

SUP.: Научный центр восточнохристианской культуры
Итальянский институт культуры (посольство Италии)
Издательство «Сибирская благовонница»

Александр Неклесса*

председатель Комиссии по социокультурным проблемам глобализации,
член бюро Научного Совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН,
заместитель генерального директора Института экономических стратегий,
директор Центра геоэкономических исследований ИАФРАН

СЕВЕРНАЯ РОМЕЯ

Уважаемый господин председатель, коллеги, дамы и господа,
несмотря на присутствие в тексте выступления исторических, теологических и, в меньшей степени, философских аллюзий, его доминанта все же культурологическая и в некоторой степени – методологическая.

Содержательную же часть я хотел бы ограничить размышлениями о некоторых аспектах византийского воздействия на русскую культуру, повлиявших на генезис российской идентичности. И затронуть вопрос, в каких формах культурное наследие Второго Рима может быть интересным современному миру, в частности, обратив внимание на перспективность «негативной рациональности» и ее методологических производных.

СТРАНСТВУЮЩАЯ ИМПЕРИЯ

Символизм блуждающего по планете Вечного Города – отражение тяги людей и сообществ, придерживающихся различных взглядов на социальные нормы и цели бытия, к цивилизованному обустройству земной жизни. Слабо различимый в сумраке европейской истории гамбит сюжета запечатлен, возможно, в «Илиаде» и «Одиссее»; эндшпиль – в моделях Глобального Града.

История Рима являет нам три лика: языческий, христианский, исламский, объединяя различные народы, общности, континенты: Европу, Азию, Африку. Это история, охватившая едва

* © Александр Неклесса, 2012

ли не три тысячелетия, эскиз глобальной цивилизации – государственность, обосновавшая вектор всемирной истории и фактически очертившая пределы ойкумены своего времени, породив массу реплик и подражаний.

Полиэтничность, людское многоголосие – ее родовой признак, явивший миру феномен политической интегрии – *империи*, прочитываемой каждый раз по-новому, меняя смыслы и смещая акценты. Человечество обязано Риму реализованным форматом цивилизованности, порожденным римской государственностью, ее принципами и категориями: *республика, сенат, имперуум, магистратура, юриспруденция* и т.д.

Свержение царя-тирана (*рекса*) – Тарквиния Гордого, стало фундаментом просуществовавшей приблизительно полтысячелетия Римской республики (*Res publica Populi Romani* или *Senatus Populusque Quiritium Romanus, SPQR*) со своими юридическими концептами и политическими механизмами, затруднявшими появление узурпаторов. Это, главным образом, сам принцип республиканского правления, наличие *двух* избираемых на определенный срок *консулов*, т.е. постулировалась сменяемость и коллегиальность высшей магистратуры. Власть которой уравнивалась *сенатом* (аристократией), плебейским *трибунатом* (с правом вето на решения консулов), народными собраниями (*комиции*), а также – коллегиальной магистратурой *цензоров*, надзиравших над государственным хозяйством, гражданским цензом (сословной принадлежностью) и всем корпусом должностных лиц (*censura morum*).[†] Кроме того предусматривались легальные процедуры привлечения к ответственности носителей высшей власти (*имперуума*).

Последующая история Рима – история *принципата, домината*, разделения на Запад и Восток. И погружения западной полусферы в эклектику темных веков с попытками восстановить, отстроить собственную версию *Orbis Romanum*, начиная с франкской империи Карла Великого (800).[‡] Сюжет был продолжен Римской империей (962), основанной Оттоном I (*Romanorum Imperator semper Augustus*), менявшей имена и политическую значимость[§]: Священная Римская империя (*Sacrum Romanum Imperium*), Священная Римская империя немецкой нации (*Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicæ* или *Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae*), просуществовав в подвижных и мерцающих обликах до 1806 г.

Наряду с формированием Европы национальных государств, продолжают существовать такие осколки и вариации темы, как Австро-венгерская монархия (*Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone, 1867-1918*). Категория «империи» постепенно приобретает метафорический характер, обозначая обширные континентальные государства: Вторая Германская империя (*Deutsches Reich, 1871-1918*) и недоброй памяти несостоявшийся, неофициальный Третий Рейх; можно припомнить первую и

[†] Были к тому же формализованы ситуации, когда та или иная серьезная угроза республике все-таки требовала единовластия и предоставления особых полномочий (т.е. введения диктатуры – института *summum imperium*, при котором разделение власти приостанавливалось: *dictator optima lege creatus*). Либо возникала необходимость временного упрощения намеренно усложненной системы командования войсками или реализации режима чрезвычайного положения в провинции. Для подобных исключительных обстоятельств существовали юридические регламенты, позволявшие управлять бурными событиями законным образом, устанавливая при этом ряд привилегий/ограничений по срокам и пространству действия специальных форм правления (кризисных процедур).

[‡] В политической логике своего времени 68-го (после низложения Константина VI) римского императора, отчасти признанного Западом, но не признанного на Востоке.

[§] *Цесария* в российских документах позднейшей эпохи.

вторую французские империи: Наполеона I (1804-1814, 1815) и Наполеона III (1852-1870), использовавшие политические и лексические аллюзии из арсенала римской истории. А также заморские конгломераты колониальных империй во главе с британской.

Наконец, уже в наши дни – интегрируемую и интегрирующую внешнее окружение – мозаичную конструкцию Европейского Союза.

* * *

Примечательна судьба «Востока» – Второго Рима, государства Βασιλεία Ῥωμαίων. Сколь различны меж собою история этой римской метаморфозы с ее взлетами, перипетиями, катастрофами, и стереотипные представления о ней как о неподвижной, инертной монолитной конструкции.

Территориальный образ этого христианского Рима подвижен, однако он не просто меняет размерность.

При Юстиниане проступает контур трансконтинентального гиганта, опоясывающего своей телесностью прибрежные земли *Mare Mediterranea* – Средиземноморье: от Нового Рима-Константинополя через Анатолию – к рубежам Закавказья; здесь, оттолкнувшись от приграничья, следует разворот к Антиохии и Святой земле; оттуда через Египет по кромке североафриканского (ливийского в терминологии времени) побережья ромейская государственность устремляется к югу Иберийского полуострова; далее, пометив Корсику, Сардинию, Сицилию, охватив Италийский сапожок и захватив Иллирийские просторы, распространяется на Север: от Греции к Болгарии, а достигнув крымского побережья Понта Эвксинского, прикасается к землям далекой Тамани – баснословной Тьмутурокани.

Но в какой-то момент даже центральные области второго Рима напоминают разбитое зеркало, разлетевшись на множество продолжающих крошиться осколков: Латинская империя и ее вассалы с вкраплениями венецианских и генуэзских анклавов, православные державы, сельджукские, а затем османские территории. Некоторое время этот властный калейдоскоп словно бы находился на историческом распутье и весьма напоминал западноевропейскую чересполосицу, разве что с более выраженным конфессиональным разнообразием: Королевство Фессалоника, Ахейское княжество, герцогства Афинское и Наксос, Морея, Кандия, королевство Кипр, королевства Болгария и Сербия, Эпирское царство, Великая Влахия, Никейская и Трапезундская империи, Киликийское царство, Иконийский султанат (Рум)... Затем вновь, хотя далеко не в прежнем объеме, восстанавливается относительная целостность Византии.

Да и само последующее крушение империи – сжавшейся к той поре до размеров территории Нового Рима-Константинополя, содержит лабиринтообразный символизм, замкнув исторической метафорой орбиту перемещающегося по планете Вечного Града.

Между тем жизненный цикл Ромеи (Ῥωμανία), государства-феникса, на этом не заканчивается. Продолжается он в иной ипостаси – исламской, удерживая, а в чем-то расширяя территориальные пропорции Восточного Рима. Османские султаны, властители по-прежнему полиэтничной и трансконтинентальной (все так же расположенной на трех континентах) государственности, считая себя законными преемниками римской государственности, приняли, начиная с завоевателя Константинополя Мехмеда II, символическое бремя римской власти – титул римского Цезаря (*Kayser-i Rum*). И носили вплоть до окончания Первой мировой войны.

В XX веке возникают политические конструкты *сообщества наций, великой державы, суперсилы, биполярного мира*, навеявая воспоминания и о вселенских амбициях отошедших в прошлое персонажей, и даже о былом противостоянии Рима и Карфагена... Ну, а в наши дни – в разговорах о глобализации, однополярном мире – мы опять-таки слышим отзвуки темы римского могущества, видим отблеск его регалий и стигматов у страны, реализующей с вершины собственного Капитолийского холма свою версию универсального присутствия в нынешней географии ойкумены.

Речь между тем вновь заходит о переселении народов, кризисе однополюсной конструкции, приближении неосредневековья, о ветре эпохальных перемен, шелестящем страницами истории: конце очередной ее главы и пришествии Нового мира.

Однако суть проблемы все-таки не в политической истории.

ОСОБОЕ МЕСТО

Удивительна интенсивность духовной жизни Второго Рима: базары и арены, превращенные в пространства бурных дискуссий, где обсуждались не только новости повседневной практики, но с не меньшей страстностью – догматика и теологумены, прописываемой в земной летописи христианской цивилизации.

Само догматическое и церковное здание христианства обустроивалось на созываемых императорами (автократами, базилевсами) Вселенских и поместных соборах, в ходе борьбы за православное единомыслие с ересями, порою преследуемыми как государственное преступление, а порою – представлявшими государственную политику. Многообразие духовного творчества дополнялось необычной для своего времени и обстоятельств социальной мобильностью, когда пелена родовитых кланов, поставлявших кандидатов на императорский престол, прорывалась выходцами из социальных низов: императорами становились солдат-наемник, бывший крестьянин, торговец-меняла...

Римское наследие, и сохраненное, и преобразованное в Византии, влияло на облик всей европейской цивилизации, изменяло ее, пробуждая, к примеру, токи Ренессанса, одним из источников коего был поток идей и людей, манускриптов и произведений искусства, исходящий из Нового Рима, особенно после захвата его крестоносцами в начале XIII века. А специфическое наследие римской цивилизации – республиканское законодательство, свод римского права, транслированный в сумятицу европейской городской революции (в виде дигестов Юстиниана), судя по всему, отчасти воздействовал на взгляды и действия, приведшие к генезису республиканской государственности Нового времени, начиная с революции Соединенных провинций.

Но лишь один наследник Второго Рима совершил исторический зигзаг, отвергнув прямое наследование исторического имущества, однако же приняв его крестное содержание.

* * *

Россия на своем пути сталкивалась со многими искушениями. Далеко не все ей удавалось преодолеть с честью. И не во всем. Сильнейшими соблазнами среди других прельщающих обстоятельств оказались социальное и политическое имущество двух величайших земных империй: римской («византийской») и ордынской («татаро-монгольской»).

Россия утверждалась в истории одновременно как христианское государство и как восточное царство. Однако в своем глубинном естестве она не Азия и не Европа, равно как не Евразия и не Азиопа. Московское царство мыслилось своими смиренными и горделивыми идеологами, строителями и метафизиками как особое место, средоточие «остатка» – остров верных, берегающих истину в мире, заливаемом водами нового потопа. Спасительной и спасаемой общностью, избранным народом...

Речь шла о принятии на себя Московией роли хранителя христианской ойкумены – вселенского православного царства, где «*нести ни эллина, ни иудея*» и где «*Господь в римскую власть написася*». Так что разговор, в сущности, шел не о политическом преемстве и тем более не о бранных национальных претензиях либо государственных оболочках. Именно в миссии содержания в чистоте религиозных заветов Русия заявлялась *ортодоксальным* (православным) Третьим Римом, где русские – не этнос, а *ромей*, а Русское царство – царство *Ромейское*. Так, кстати, подчас в документах и писалось.

*Действительно, в ряде текстов XVI века изначально прописано «ромейское», а не «росейское» или «росийское» (как впоследствии, а порою и до настоящего времени воспроизводилось, да и сейчас воспроизводится), т.е. «великое Ромейское царствие, Третьей Рим». Но данное написание оставалось забытым и неизвестным, кажется, вплоть до самого начала XX века. ***

Культурно-исторические инстинкты и интерпретации российской энтелехии – своеобразный «русский габитус», проявлялись в собирании разноплеменных народов, в прозелитических, культуртрегерских амбициях, в освоении и присвоении мозаичных восточных и южных пространств (*ареалов окормления*). Параллельно происходило усвоение опыта, умений сопредельных народов, включая с какого-то момента обширное ордынское наследие: процесс, отчасти напоминающий взаимную культурную проницаемость Запада и Востока в эпоху крестовых походов.

В архетипическом подходе к дефиниции русской национальной идеи присутствует, конечно же, некая провокативность. Дело, пожалуй, вот в чем. В ходе обсуждений и рассуждений на тему русской идеи то и дело сталкиваешься с реестром концепций идеологического извода. Самыми яркими являются идеологемы или, как сейчас сказали бы, «мемы»: *Третий Рим, самодержавие – православие – народность, Третий Интернационал...* Список легко и расширить, и продолжить.

Тут, наверное, уместно еще одно предварительное замечание. Любопытна вероятность присутствия в сюжете некой исторической (конспирологической) интриги: внедрения социокультурного гена – идеи *Третьего Рима*, северо-западными персонажами Руси как средства удержания восточной, порою уж слишком восточной в географии и политике того

** В рассуждениях на тему «*Русь и Росія*» много причудливых закоулков (да еще с византийскими обертонами библейского *Рош*). Так, любопытна мысль о несознательной путанице греческих букв ρ и σ в строчном рукописании *Рωμ* и *Ρώσ* и их производных. Что породило именование «*росейское*» и производное «*Россия*» (*Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία*), зафиксированное со временем в титуловании Димитрия (*Цесарь и Великий Князь всея Росии, всех Тартарских царств...*). Закрепилось же оно в более привычном виде в титуле царя Алексея (*Великий Государь Царь и Великий Князь... Великия и Малыя и Белыя Росии*), а как официальное название государства – при Петре I (*Российская империя*). До того, начиная с Ивана Грозного – *Русское царство*, а ранее – *Великое княжество Московское*. Выражение же *Всея Руси* впервые во внешнеполитических отношениях включил в свой титул Иван III (1493 г.), причем произошло это на переговорах с *Великим Князем Литовским и Русским*.

времени Московии^{††} от искушения принятия в культурно-политической полноте наследства распавшейся приблизительно в тот же период другой вселенской империи: Ордынского царства (*Yeke ulus – Великого улуса* или *Империи Великая Тартария* – и такое встречалось определение в европейской дипломатической переписке).

* * *

На каком же фундаменте возводилось здание государства российского, впитавшего не только ордынские токи, но воспринявшего также мощный культурно-государственный импульс от Второго Рима?

Наследие это, вопреки расхожим схемам, воспринято было парадоксальным образом. Не в качестве собственно византийских цивилизационно-государственных активов, а скорее как попытка очищения от исторической коррозии своеобразного «символического капитала» того времени – идеи подвижного политически оформленного сообщества с особым мировоззрением и мироустроительным замыслом. При ощущении уникальности **миссии сохранения, если не плода, то цветка ромейской духовности**. Того цветка, который, несмотря на окружавшие нестроения, произрастал и благоухал именно в последние века второй римской империи.

Трагедия восточно-христианской цивилизации, возможно, была предопределена изначальной сложностью и нелинейностью избранной культурной траектории, парадоксом, заложенным в ее политическое тело и связанным с императивом осмысления в православном политическом тексте института императорской власти: икономической, по сути, идеей плотного сосуществования земного царства и горней общности, пребывающей в искаженных грехом земных пределах.

Идеал симфонии властей предполагает жертвенное (подвижническое) напряжение властителей, практику каждодневного преодоления конфликта страстей, т.е. ситуацию перманентно отодвигаемого кризиса, трансгрессии, чреватой в момент той или иной слабости молниеносным развитием катастрофы... Из этого источника, кстати, проистекает чин венчания на царство как укрепляющего сакрального действия с элементами особого таинства – увенчанного мона(р)шества, фиксирующего жертвенный подвиг отказа от обычной земной жизни, т.е. деятельное «*бытие для других*»: своего рода незримое белое мученичество в миру и «*в самом своем естестве*». ^{††} В отличие, скажем, от интронизации или тем более республиканской инаугурации, т.е. ритуала принесения присяги сеньору (народу), иначе говоря, версии оммажа.

Между тем социально-культурная динамика второго Рима, кажется, прервалась именно в момент начинавшегося преображения: расцвета концептуального творчества, богословского осмысления синергии (и культурных следствий), а также возможного перехода к трансформации, если не трансмутации, религиозных и политических институций в некое новое качество. Процесс, надо сказать, в чем-то синхронный западноевропейскому транзиту, но заметно отличный по внутренним основаниям.

^{††} На европейских картах – западного лимитрофа «*Тартарии*», впоследствии инкорпорированной Русским царством, что, кстати, стало основанием для соответствующего (римского) титулования государя.

^{††} Действительно, в Византии и России сохранялось помазание именно миром, а не елеосвящение.

Не успевшие, однако, укорениться ростки и непростые семена культурного, социального пробуждения были рассеяны по миру. И, отчасти, перенесены на другую почву – ареал, промысленного, но еще не реализованного, пребывающего в становлении, лишь начинающего постигать опыт суверенно-государственного домостроительства православного царства, состояние обретаемых земель которого было осложнено долговременным властным присутствием иной «имперской» традиции – ордынской.

Подобное синкопирование исторической последовательности вело к парадоксальному результату – сродни кесареву сечению или преждевременным родам...

Данное обстоятельство – контрапункт, отягощенный к тому же географической фронтирностью России и ее пространственной экспансией (земной перенасыщенностью), отнимало энергии от последовательного институционального, социального, культурного обустройства охваченных тонким покровом территорий. Раз за разом оно обозначалось, воспроизводилось в коллизиях между незавершенной (несовершенной) административной оболочкой (государством) и разноязычным^{§§} культурным сообществом (населением), пребывающим в различных цивилизационных состояниях и склонным к той или иной версии иноверия, двоеверия, что само по себе разделяло потенциально единый народ на разнящиеся, порой открыто конфликтующие сегменты.

Орехи вынужденно проступали и в скорописи социального текста. К примеру, сословное неравенство не сглаживалось в историческом потоке, в отличие от институционализации, обустройства и расширения состава гражданского общества в ходе европейских городских революций. Напротив, время от времени оно прорывало цивилизационную пелену уродливой кристаллизацией тех или иных как бы «временных обстоятельств», усугублялось и обострялось, доводя в какой-то момент положение значительной части населения буквально до рабского состояния: легальной торговли соплеменниками и единоверцами.

В этих условиях «устроителям места сего» во многом приходилось полагаться на российскую версию своеобразной *золотой легенды*.

* * *

С наследием византийским, надо сказать, сложилась непростая ситуация. В обществе до сих пор господствует стереотип именно о социально-политическом преемстве Руси от Византии, выраженный, к примеру, в легендах о «шапке Мономаха», «двуглавом гербе» или в поздних толкованиях тезиса о Третьем Риме. Связь, действительно, существует, равно как наследие и преемственность, только вот в каком смысле?

Если обратиться к документам и событиям эпохи (XV-XVI века), мы видим: дело обстояло подчас едва ли не противоположным по отношению к поздним прочтениям образом. И формула Третьего Рима изначально осознавалась, скорее, как опровержение падшей Византии, отрясение ее праха, нежели как ощущение кровного родства и наследования... Однако **обретение православного апофатического богословия, развиваемого в Византии, познание мира удивительных энергий, постигаемых и пестуемых в основном в исихастском кругу, а на русских просторах – нестяжателями, заволжскими старцами, каким-то образом – с**

^{§§} Речь, конечно, идет о широком понимании категории языка и *язы'ков*. Причем не только в «горизонтальном» измерении, т.е. конфессиональном, цивилизационном, этническом, но и «вертикальном» – социальном смысле данного понятия, примером чего в один из периодов русской истории является даже прямая языковая автаркия – франкофония верхов.

изменениями, угасаниями, провалами вплоть до трагического надлома – было все же унаследовано Россией. И унаследовано во многом в сфере практики, а не богословия. Богословия как такового в России, пожалуй, и не сложилось, а вот практика, «практическое богословие» – сложились.

В целом же обозначившееся вскоре после падения второго Рима Русское царство, обретя со временем собственный формат имперской государственности, аккумулировав при этом претензии на реконструкцию вселенского миропорядка и нащупав стержень оригинального замысла («идеологии»), напоминало в тот период сжатую пружину. В течение весьма короткого исторического срока энергия преобразований сказалась не только на размерности и статусе страны, но также на самосознании народа. Эта повышающаяся энергетика ввела в мировой контекст деятельного персонажа, который с тех пор при многочисленных исторических пертурбациях вплоть до последнего времени не покидал историческую сцену.

ОБАЯНИЕ НЕВЕДОМОГО

Апофатичность, прочитанная и воспринятая как особый культурный импульс (т.е. преимущественно косвенным образом), произвела ряд отличных от источника и от западноевропейских версий христианской культуры производных. Созвучных, однако, психологическому складу русских очарованных странников-первопроходцев, купцов и монахов, разбойников и воевод, обитавших – вспомним об этом обстоятельстве – на краю лишь частично познанной земли-ойкумены.

Попробуем воспроизвести, хотя бы списочно, качества подобного самоощущения и самостояния: запредельность, экстремальность, безымянность, неформальность (небрежение формой), неряшливость, неприхотливость, инакость, мечтательность, утопизм, юродство, буйность, разгильдяйство, подвижничество, продвижение, освоение, мобилизация, эсхатологичность... И даже «перестройка» в каком-то неявном виде присутствуют в данном ряду, в том числе в залоге катастрофичности, – и все вместе взятое входит в некую русскую социологию развития.

Каким образом? Одним словом, конечно, не ответишь. Но можно пытаться. Подобная запредельность и экстремальность психеи имеет не только многочисленные внешние проявления. Она намекает именно на тип национальной идентичности – имманентное ощущение соприсутствия трансцендентального замысла, на подсознательную внутреннюю картографию и нелинейную умственную геометрию. Связанные в свою очередь с особенностями миропонимания, самоощущением личностью и народом судьбы как миссии, наполненной дерзновенным содержанием. Русский закон – быть выше закона. Что проявляется и как рутина, и как доблесть, и как скотство.

Искаженное, неверное, подчас прямо извращенное, горделивое прочтение тезиса отзывалось в земной истории страны и народа тяжкими, катастрофическими потрясениями. Но как Иона не смог отказаться от предъявленной ему миссии, так и для отказа от исторического промысла, от собственной идентичности (мечты) требуется, видимо, совершенно особое сверхусилие, не сулящее, однако же, ничего хорошего.

* * *

Апофатическое богопознание предполагает испытания на грани предельности. Оно, собственно говоря, и основано на перманентном обитании в подобном статусе, на решительном, но умном шаге за очерченную привычным бытием границу.

Апофатическое мировосприятие активизирует неочевидные, «темные», глубинные свойства любви как высшей ценности и реальности, предполагающей в качестве земного проявления – в условиях перманентно проявляющихся несовершенств мира – жертву. И муку, связанную с протяженным во времени ее принесением: то есть кровоточивость во плоти и терпение вне общего предела. Без любви апофатическое миропознание как опознание истины вообще невозможно, опасно и даже предосудительно; подобное действие ведет в лабиринт, из которого нет выхода. Или же во ад пустыни тесного одиночества.

Апофатический подход к миростроительству – практике земного бытия, есть самотворение и само-отворение (а подчас – искустельное/искупительное *самосожигание*). К тому же это скорее испытание мира с целью познания истины, нежели его перестройка.

Схожим по целеполаганию, но не стратегии образом, катафатическое мировоззрение по-своему акцентирует, проблематизирует онтологичность любви, творчества и свободы. Плоды же богопознания – принадлежат икономии и милосердию, т.е. всем.

Чувство становящейся едва ли не обыденной за-предельности (в том числе, в страдании), насыщаемой сгущающимися, но зачастую остающимися незримыми токами жизни, отражается в социальной и политической практике, их внутренней экзатичности, экстремальности. Порою – свирепости. Экстремальности, которая имеет как интроспективную, так и мобилизационную составляющую, требуя в том и другом случае крайнего напряжения духа, формируя привычку к непрестанному усилию, сверх-усилию. И в то же время обладает странной при взгляде извне прозаичностью, будничностью, обращаемой подчас властью в прямую эксплуатацию способности народа к предельной мобилизации.

Апофатика – дорога, где очарованного странника подстерегает множество искажений: это путь ошибок и катастроф. Действительно, с утратой оснований, неудержанием главного, терпение, к примеру, может переродиться в тривиальную, а то и просто тупую покорность, причем чрезмерную. Героизм же как воля и способность жертвенно (что практически неизбежно, ибо попытки преодоления дурного естества, внутреннего и внешнего, отзываются и сопровождаются яростным сопротивлением) противостоять неблагоприятному развитию событий, трансформируется в специфический характер, своеобразный «национальную ресурс»: способность к длительному напряжению сил, запредельную терпеливость, слишком часто хищнически используемую властителями.

Иначе говоря, регистрируемые приметы культурного клише, т.е. особенности жертвенно-героического мировосприятия/поведения, не столь уж редко проявляются как внешняя пассивность по отношению к земному устройству. И без способности к самостоянию, перманентному укреплению личности, постоянному горению, неуступчивости «*до самая до смерти*» к попыткам коррупции (искушениям), лукавству прагматичной конвертации наличных даров, развязывают возможности деспотизма и беспредельной тирании.

Есть между тем у русской психеи даже более глубокий пласт (но данное свойство отметим лишь на полях, не углубляясь в его жгучее содержание) – безудержная устремленность к идеалу. Тяга совершенно особого рода: перфекционизм, заставляющий разрушать и отчасти презирать земное устройство как несовершенные копии недостижимого перфекта.

Это – совершенно особое свойство русской психеи и особенное прочтение творчества: как искусства сокрушения несовершенств.

НА КРАЮ ОЙКУМЕНИ

Корни мобилизационности как феномена могут быть различными, так же различаются и облики развития, но мы способны отличать цивилизации по родовым меткам их динамических, социальных производных. Идея глобального Рима – претензия на всемирное обустройство, унаследованная от Рима первого и второго, оказалась необычайно близкой народу-первопроходцу. И не покидала с тех пор его мятущуюся душу.

В сущности, на протяжении некоторого периода на планете состязались две ветви цивилизации, несущей в своем естестве динамическую производную. С одной стороны – это европейская цивилизация, которая помимо англо-саксонской империи, «где не заходило солнце», произвела на свет собственную версию вселенского мира: эпоху Нового времени (*Modernity*). Породив попутно энергичное сообщество «объединенных государств» («штатов»), выстроивших под сенью «града на холме» фундамент и само здание глобализации.

И не столь внятные, синкопированные, однако же не менее дерзновенные, футуристичные эскизы Руси-России, которая воплощала географическую/идеологическую разведку боем, грезя всемирными и надмирными миражами. Не слишком отдаляясь при этом от материнских (континентальных) пространств, хотя и продуцируя фрагменты трансграничной, планетарной, универсальной экспансии. *** Соединялись окраины, *у-краины*, пределы: православные казачьи запорожские и кубанские земли, донские и терские станицы. Это также дух и быт переселенцев и поселенцев Урала и Поморья, энтузиасты Беловодья и соратники Ермака, яицкие, амурские, дальневосточные первопроходцы, шаг за шагом раздвигавшие пространство познанной ойкумены, обустраивавшие и заселявшие речные, степные, горные рубежи. ††† И еще ушедшие от мира, скрывшиеся в неизведанных до поры землях монахи и старообрядцы... Каждый раз, по-своему, они укрупняли, творили очертания страны под стать пропорциям и смещаемым границам мятущегося духа.

Россия, таким образом, – архипелаг разнообразных форм заселения безбрежного сухопутного океана Северной Евразии. Это «*потоковая социальность*», разъединенная обширнейшими пространствами, симбиоз разбойной вольницы и мало в чем ограниченного произволения местных администраций. Саморазвитие общества в таких условиях в значительной мере сдерживалось лоскутным, экстенсивным характером социальных коммуникаций, отдавая приоритет административной скорлупе централизованного аппарата, что сказывалось на конфессиональной, языковой, историко-мифологической связности, одновременно порождая и закрепляя мистифицированные стереотипы в общекультурных клише, стимулируя унификацию и периодическую неоархаизацию населения.

Ситуация осложнилась дополнительным расщеплением народа: инициатива просвещенного общества, лишенного прочных оснований в этой специфической материальной культуре – где отсутствует, в частности, полноценная городская среда столь необходимая для

*** Вспомним композицию герба скрывшейся в водах истории России-СССР.

††† Всего же на территории Российской империи обустроились земли более десятка региональных казачьих войск.

развития личности и затруднено функционирование институтов деятельной самоорганизации – с какого-то момента основательно расходится как с народной культурой, так и с идеологическими/политическими скрепами государственного обустройства. А затем становится конфликтогенной, критичной, оппозиционной по отношению и к безликой стихии масс, и к формам бытия тучного Левиафана.

Но тотальность российской власти (*«до всего ей есть дело»*) – не только пресловутые обручи, сдерживавшие центробежные энергии территориального гиганта. В своей патерналистской ипостаси это еще парадоксальный субститут гражданского общества в его домостроительном аспекте. Не только политическая/экономическая реальность, но горизонты и содержание культурной политики привычно формируются здесь не обществом, а государством. Из-за подобного своеобразия гражданский прогресс и гуманизация среды оставались и остаются социокультурной задачей России, а также ее политическим императивом. Альтернатива подобному маршруту – истощение пассионарности, девальвация этоса и дальнейшая архаизация ментальности.

* * *

Повторим, что отчасти было сказано.

Внешним признаком российского исторического/политического бытия, равно как национальной ментальности являются одновременно *центробежная* (географически и демографически) и *центростремительная* (административная и идеологическая) фронтирность. Прочерченные линиями старых и новых трансграничных торговых путей, интерцивилизационных трактов, мыслительных устремлений и социальных охватов. Фронтирность, отвращающая индивида и общество от планомерного освоения повседневности, уводя то в подвиги, то в грезы, со всеми присущими подобному способу бытия заблуждениями, ошибками, провалами, сантиментами.

Действительно, территория России последовательно раздвигалась и очерчивалась в соответствии с географией «путепроводов» своего времени, перерастая в пространство рассеяния («розсяння»^{***}) ее деятельного населения, которое проявляло себя как динамичное сообщество военно-торговых корпораций.

Рубежи этого подвижного пространства (суммы территориально-деятельных комплексов) обрамлены пунктирами значимых маршрутов, начиная со знаменитого днепровского: «из варяг в греки». Но также «из варяг в булгары» – волжский тракт, переходящий в дорогу на Хвалынское (Каспийское) море, «к персам» («серебряный путь»). А подчас еще дальше... как след странствий, скажем, Афанасия Никитина. Был и «особливый янтарный путь», и транзитное «поволочье», и легендарная «троянова тропа». Южная граница России – фактически, линия Великого шелкового пути. А вдоль Ледовитого океана – на европейских картах XVII века обозначенного как «Гиперборейский океан», на российских «Море-океан», «Ледовитое море», отмеченное северным, приполярным форпостом русской цивилизации: *морским* монастырем Соловки – проходил «соболиный тракт», уходивший за Урал, в Мангазею. И затем чуть ли не к водам другого океана, «Восточного» или «Великого».

Преодолев границы Евразии, российская торгово-милитарная корпоративность и государственность в своеобразном облики, напомиравшим композиции Ост- и Вест- Индских

^{***} Ср. такой казус: *«Росси від розсяння свого прозвалися»* («Синопис Киевский», 1674).

компаний, в какой-то момент вышла на просторы континента, расположенного по ту сторону восточного океана. А пионерские суда устремились еще дальше – на юг, вплоть до берегов тогда неведомой, но вскоре открытой русскими морепроходцами Антарктиды. Иными словами, в какой-то момент наметился контур даже не евразийской, но уникальной трансокеанической страны или, по словам «русского Колумба» Григория Шелихова, «*вселенской океанической державы*». ^{§§§}

Рассуждая о пространственных измерениях российской государственности, мы забываем, что Россия исторически не только европейское или азиатское пространство. Это была страна, присутствовавшая в один из периодов истории на трех частях света и первой дотянувшаяся до края неведомого материка – *четвертого*.

Русская Америка (*Славоросия* – мечта «морского царя» Трапезникова), охватывала Алеутские острова, Аляску, Западное побережье Америки до 55-го градуса северной широты и насчитывала 15 поселений от Ново-Архангельска на о-ве Баранов (Ситха) до форта Росс в Калифорнии. Управлялась она особым образом: посредством Русско-Американской компании, утвержденной 8 (19) июля 1799 г. императором Павлом в своих особых правах, включая флаг, деньги, административные и военные полномочия. Значительная часть торговых операций велась через Кантон. О той или иной форме присоединения к пунктирно очерченному грандиозному контуру Ново-Российской интеграции задумывались на тихоокеанских просторах разные персонажи, к примеру, на Гавайях. Осенью 1867 году Аляска была, однако, продана Александром II Соединенным Штатам.

Горизонты восточной (а в каком-то смысле и «западной») границы империи предполагали альтернативный, *океанический* вектор развития, сокрытый в тенетах, казалось бы, сугубо *континентальной* державности. Образы созданных на ее «внутренних» берегах, но не удержанных плацдармов, озаряются мыслью об иной – *дальне-восточной* столице и другой судьбе Русского мира. Но все это осталось не слишком внятным миражем, историософски не осмысленным и политически не реализованным российским мегапроектом. Между тем северная часть Тихого океана получила-таки на время дерзновенное наименование «Русского моря»...

С позиций же историософии – сплетений метаисторического промысла и земных замыслов – встреча на окраине американского континента двух потоков христианской цивилизации представляется явлением и примечательным, и символичным. Изначальная претензия на горную запредельность, пробудила дух прорыва закостеневших было земных границ: казавшихся непреодолимыми океанических оболочек средневековой и античной ойкумены. И дала возможность *Universum Christianum*, отринув иллюзорные пределы ветхого потопа, заполнить собственным половодьем планету.

Сочетая в единое целое охваченные пробуждением миры.

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Мы живем в мире, степень неопределенности которого быстро повышается. В конце XX века глобальный театр операций, резкое возрастание рисков предопределили необходимость

^{§§§} «*Какая там Сибирь, Славоросия! Утвердись крепко и навеки на американских берегах Великого океана, останется одна токмо Россия – вселенская океаническая держава*».

серьезного обновления методологии познания и действия, пересмотра процедур принятия/реализации решений.

По мере умножения проблем, сокращения времени на их осмысление и реагирование политическая, деловая практика ставят перед ЛПР (СЕО) дьявольские альтернативы. Естественно, возрастают нагрузки на интеллект, психику, физиологию. Человек – органичная часть управленческой системы, но исполняя ту или иную функцию, он инструментален. Подобная его «объектность» способствовала обезличиванию: долгое время люди подвергались своего рода индустриализации. Однако человек, будучи по природе не объектом, а субъектом, причем весьма сложным, способен к операциям нестандартного свойства. Подчас неожиданным и эффективным.

Он, в частности, обладает способностью принимать решения на основе несовершенных, заведомо неполных данных. Мысля и действуя длительное время в соответствии с постулатами линейной логики, в рамках механистичной модели реальности (корни чего уходят к эпохе Просвещения и глубже – к древнегреческим истокам, аристотелизму), мы привычно недооцениваем потенциальные возможности собственного естества. Нынешние критические обстоятельства требуют наличия или же выявляют отсутствие у субъекта уникальных личных ресурсов. Либо в качестве социальной альтернативы – эффективной методологии пригодной для использования в условиях неопределенности. Возрастает роль креативности, способности *ad hoc* опознавать и постигать смысловую скоропись нестандартных ситуаций, поддерживать устойчивый, активный творческий статус.

Анализируя позитивные/негативные обстоятельства умножающихся комплексных коллизий, мы не только обретаем особый, недоступный ранее опыт, но делаем выводы, меняющие всю систему принятия решений. Со времени мировых войн развитие методологии эффективного управления объектами, субъектами, событиями пережило несколько мутаций: исследование операций, системный анализ, системная динамика, поведение высокоадаптивных самоорганизующихся систем... Однако в настоящий момент мы, по-видимому, находимся на пороге еще более значительного транзита.

В XX веке произошло не просто резкое усложнение характера операций. Постепенно доминантным объектом внимания становится не столько состояние настоящего либо будущего (отложенное целеполагание), сколько сам процесс *per se* как практика перемен. В свою очередь необходимость иметь дело с динамичными, нелинейными, многофакторными процессами, протекающими порой на грани турбулентности и хаотизации, предопределила поиск регламентов и соответствующего инструментария «новой рациональности», приспособленных к анализу поведения сверхсложных организованностей и, главное, эффективному воздействию на него (e.g. посредством аттракторов, «идеалов»).

А также неизбежно влекло кардинальную переоценку роли антропологического фактора.

Человек перестает быть инструментальным элементом системы, ее объектом, функцией, агентом. Его сознание, мировосприятие, способы взаимодействия с природой, окружением переживают серьезную перестройку. И по мере умножения проблем, расширения круга объектов взаимодействия открываются все новые обстоятельства. Выясняется, к примеру, что, как и в естественных науках, само присутствие оператора в социальном космосе, его намерения нестандартным образом влияют на событийный ряд (феномен «неклассического оператора»). Субстанция бытия, ее состояния связаны с субъектом теснее, нежели представлялось. Иначе

говоря, действовать «правильно» или «неправильно», причем не только с точки зрения психологии или морали, но также с позиции, которую можно определить как «метафизическая», оказывается, помимо прочего, серьезной практической проблемой.

Взаимодействуя со все более высокими регистрами сложности, различным образом постигая и формулируя статус постсекулярности, мы все чаще ощущаем сопричастие сил, законов, которые до конца не понимаем, однако же пытаемся осмыслить. И будучи практиками, используем (в качестве примера укажу на такие явления, как *synchronicity* и *serendipity*). Подобный подход предполагает персонализм, конкретность, а также неотчуждаемость экспертизы (знания) от субъекта и даже метафизических обстоятельств.

Какое отношение данная проблема имеет к обсуждаемой теме? На мой взгляд – прямое.

Кризис взаимоотношений с возрастающей сложностью технических, биологических, социальных, антропологических систем предполагает либо отсроченный коллапс управления/контроля, либо прорыв к радикально иным принципам познания и действия. Уникальность возникающих ситуаций, их каскадная новизна, высокий уровень критичности, нелинейность, подвижный, изменчивый характер, диссипация требуют не просто пересмотра эпистемологического тезауруса, ревизии привычных алгоритмов и методов действия, но радикального изменения самого способа освоения калейдоскопичного универсума. Дело в том, что существующий категориальный аппарат и привычные методы конвергенции обретаемого знания подчас оказывают дурную услугу в опознании расширяющегося контура реальности. Кроме того, они все чаще используются, если можно так выразиться, «метафорически». Особенно заметны подобные изъяны в сфере социальных и гуманитарных дисциплин.

Происходящая девальвация категориального аппарата повышает значение и возможности негативной диалектики. Плодотворным направлением методологической революции представляется синергийный подход к миропознанию, миростроительству и пространству операций. Речь, по всей вероятности, идет о фундаментальном развороте в постсовременной умственной практике от катафатических установок к апофатическим (e.g. способность внекатегориального опознания). И далеко не в последнюю очередь – об углубленном, диверсифицированном осмыслении самого апофатического мировосприятия, рецептов и техник, которые развивались преимущественно в Византии, особенно в среде исихастов. Культура невербального постижения предполагает сложные усилия и процедуры по удержанию комплексной неопределенности в целостности и полноте, практику взаимоотношений с иным, лучшую ориентацию в беспорядочных структурах и т.д. Иначе говоря, в ментальном и практическом обороте востребован специфический опыт взаимодействия с формально неопознанными, телеологическими и теологическими измерениями бытия...

Завершить выступление мне хочется тезой, акцентирующей один из актуальных аспектов предмета обсуждения. Человек в обстоятельствах принятия сложных, критических решений верно избирает и успешно преследует цели, если при этом он непрерывно беседует с Богом.

Благодарю за внимание.



PERSONALIA



Александр Неклесса (Alexander Neklessa). Руководитель Группы ИНТЕЛПРОС. Председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме Российской Академии наук (РАН). Заместитель генерального директора Института экономических стратегий при Отделении общественных наук РАН. Заведующий Лабораторией геоэкономических исследований (Лаборатория «Север-Юг») ИАФРАН (Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН). Профессор кафедры геоэкономики Академии геополитических проблем.

Ранее возглавлял Синергетическую лабораторию НПО «СИНЛА» (АЦМИ), работал главным специалистом МВЭС РФ, управляющим Службы стратегического анализа МАПО «МИГ», экспертом-консультантом Директората стратегического планирования ВПК МАПО, научным руководителем Департамента стратегического развития ОАО «ГАО ВВЦ» и членом Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров ОАО «ГАО ВВЦ», являлся членом аналитической группы Совета Оборона РФ.

Автор/научный руководитель проектов СИНЛА («Каскад»), ЭКОЛАР (1988), «Камелот» (2004), «София» (2004), ВВЦ-2 /«Время-Вперед-Центр» (2009), «Феникс-К» (2010), «Большая Волхонка» (2011). Руководил Московским интеллектуальным клубом «Красная площадь», теоретическим семинаром «Глобальное сообщество» (Научный Совет «История мировой культуры»), междисциплинарным семинаром «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» (Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при ООН РАН). Вел еженедельную аналитическую программу «Будущее» (FINAM FM).

Действительный член Русского исторического общества, Философско-экономического ученого собрания МГУ им. М.В. Ломоносова, а также российских отделений Международной лиги стратегического управления, оценки и учета (ILSMAA), Всемирной федерации исследований будущего (WFSF). Член Международного редакционного совета журнала «Philosophical alternatives» («Философские альтернативы») Болгарской академии наук и редколлегии российских журналов «Азия и Африка сегодня», «ИНТЕЛПРОС – Интеллектуальная Россия», «Проблемы развития», «Прогнозы и стратегии», «Экономические стратегии».

Автор около 600 публикаций по вопросам международных отношений, политологии, экономики, истории. Основные направления исследований: международные системы управления и тенденции глобального развития; стратегический анализ и планирование; геоэкономика; философия истории.